
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ

УДК 930.1+940

И.Ю. Николаева

ГЕНДЕРНЫЙ РАКУРС ДЕФОРМАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ЦАРЯ: ИВАН IV В ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ КРИЗИСА ОПРИЧНОГО ВРЕМЕНИ

В статье выдвигается гипотеза о связи гендерного поведения Ивана IV с общей структурой его идентичности, претерпевшей существенную деформацию по мере сползания российского общества в ситуацию социально-психологического и духовного кризиса опричнины. Произошедший исторический срыв в процессах Перехода России к Раннему Новому времени рассматривается как органичное следствие укорененности традиционного уклада, несшего в себе большой груз архаического. Реактуализация архаики на гендерном уровне поведения царя и его подданных отражает и доказывает связь макроисторических процессов динамики русского общества с микроисторическими мутациями ментального плана.

Личность Ивана Грозного – многогранная и противоречивая – вызывала и вызывает немало споров в самых разных научных и не только научных средах. Острый ум, книголюб, реформатор – это всего лишь один из ликов Ивана IV, дававшего и дающего повод говорить о нем как великом правителе российского государства XVI в. Другой лик – тиран и убийца, правитель, рано обнаруживший жестокость, граничившую с садизмом, чья подозрительность чем дальше, тем больше обретала черты маниакальности, побудившие ряд исследователей заговорить о нем как психически больной личности. Первым в отечественной литературе мнение о том, что «Иван IV не изверг, а больной», высказал Я. Чистович, предположив, что умопомешательство царя было вызвано и поддержано «яростным сладострастием и распутством» [1. С. LV–LX].

П.И. Ковалевский констатировал паранойю, которая протекала в специфических формах – царь в обыденном поведении мало чем отличался от здоровой личности, более того, для него нередко было характерно глубокое понимание сути вещей, однако мания преследования, актуализировавшаяся под влиянием внешних условий, в конечном счете, определяла взрывные стороны поведения его параноидальной личности. При этом ученый истоки душевной болезни видел в вырождении рода Рюрикoviчей, развитию которой способствовало неправильное воспитание [2. С. 10–23, 58–75, 87].

Эта традиция определения царя как психически больной личности в качестве оборотной стороны имела неизбежным следствием «списание» эксцессов опричного времени, как, впрочем, и ее самой, на счет психопатологии Ивана Грозного. Впрочем, уже тогда, на рубеже XIX–XX вв., некоторые исследователи обращали внимание на тот не оспоримый в нынешнем гуманитарном знании факт, что жестокость Грозного, чудовищная и избыточно экспрессивная по меркам нашего понимания ее пределов, по тем временам – явление широко распространенное. Об этом, в частности, писал К.Д. Каве-

лин, рецензируя исследования С.М. Соловьева [3. Стб. 639]. Однако далее констатации этого обстоятельства исследователи ни века XIX, ни века XX не пошли.

Неудивительно, что хорошо известные не только профессиональным исследователям, но и широкой публике эксцентричные особенности сексуального поведения Ивана IV являются благодатной почвой для самых разных интерпретаций, как правило, далеких от соотнесения с законами функционирования психосексуальной сферы как области бытования человека, органичной историко-культурному ландшафту общества. Чаще всего исследователи ограничиваются констатацией сексуальной распущенности царя, реже привлекают данные других наук для объяснения природы этого поведения. Не имея возможности в рамках данного текста сколько-нибудь подробно комментировать сложившуюся историографическую ситуацию, сошлусь все же на один из лучших образцов подобного рода привлечения инструментария медико-антропологического характера. Ссылаясь на антропологическое исследование останков царя, авторы солидного многотомного издания констатируют хроническое ртутное отравление организма первого русского самодержца. На основании сопоставления известных фактов из жизни Ивана Грозного и данных медицины диагностируется, что царь страдал конститутивным меркуриализмом. Симптомы этого заболевания, хорошо известные в медицинской практике, таковы: повышенная раздражительность, сниженная работоспособность, частая смена настроений, постоянное внутреннее напряжение и частые головные боли. Прогрессирование болезни сопровождается нередко чрезмерной мнительностью и раздражительностью. Известно, пишут авторы «Истории государства российского», что царь и наследник престола не были образцами добродетели своим подданным, и природа в отместку награждала их всевозможными дурными болезнями, которые тогда уже лечили втиранием ртутной мази, каломелью и сулемой [4. С. 27].

Сопоставляя эту картину с известными по рассказам современников описаниями состояния Ивана Грозного, начиная примерно с 1565 по 1584 г., когда царь предался разнузданному блудодействию, заключают историки, можно не сомневаться в диагнозе его болезни. Если с этим выводом авторов с определенными оговорками можно согласиться, то последующий пассаж для исследователя, знакомого с социально-психологическими закономерностями поведения определенного типа личности в контексте имеющейся информации об эпохе опричнины, вызовет немало недоумений: «...рискнем предположить, – пишут они, – что недуг с таким возвышенным названием, как «конститутивный меркуриализм», деформировавший психику самодержца, и был одной из **первопричин** тех неслыханных жестокостей, которые обрушил на головы своих подданных Иван Грозный во вторую половину своего долгого правления» [4. С. 28].

Рискуя несколько огрубить авторскую логику, из предложенной интерпретации все же сделаем вывод, что атмосфера опричного времени со всеми его кровавыми эксцессами была порождена сексуальной распущенностью царя, издержками протекания пагубного недуга. Но в эту картину не вписывается очень многое – и прежде всего во многом повторяющийся националь-

но-исторический рисунок социально-психологических комплексов, свойственных разным этапам модернизации российского общества. В частности, некая параллель опричным временам, которую можно увидеть в сталинской эпохе. В обоих случаях процессы модернизации сопровождались поисками «козла отпущения», отливавшимися в жестокие формы социальных эксцессов. Раскрытые «заговоры» бояр, массовые казни вызвавших подозрение или негодных лиц (чего только стоит знаменитое «московское дело», когда было арестовано вместе с Иваном Михайловичем Висковатым 300 человек, в том числе почти все главные дьяки московских приказов) перекликаются со стилистикой знаменитых процессов 30-х гг. XX века, с характерной для них атмосферой страха, доносительства, процветавших в условиях произвола власти и широко разлитого насилия. А бесчинства опричников, в том числе и гендерного характера, прямо-таки просятся быть сопоставленными с типологически близким регистром поведения Берия и его окружения.

Как нам представляется, многочисленные эксцессы опричнины, в ходе которых население подверглось беспрецедентному по масштабам унижению, издевательствам и насилию, в том числе и гендерному, а также смехового характера явились выражением атмосферы тяжелейшего социально-психологического кризиса, сопровождавшего ломку российского общества в XVI в. Этот кризис был связан с мощнейшим историческим «срывом» на пути Перехода к новым формам социальности, которые сложатся в Европе к началу Нового времени [5. С. 4-29]. Именно в контексте этого кризиса и может быть адекватно проинтерпретировано гендерное поведение царя, равно как и стилистика его смеха, являвшиеся органичными компонентами динамики его личности как человека своей эпохи. Несколько забегаю вперед, подчеркнем, что внешне мало связанные с властным кодом культуры гендерные установки сознания и поведения личности на бессознательном уровне воспроизводят общий рисунок ментальных матриц властного сознания. Смена алгоритма развития властных структур и соответствующего им ментального универсума всегда влечет за собой трансформацию и гендерного кода культуры.

В этом смысле гипотеза, из которой исходит автор данного текста, заключается в том, что гендерный «казус» Грозного, равно как и феномен его смеховой личины, явились не чем иным, как знаковым явлением той самой духовной и психологической деформации идентичности царя, которую бы А. Тойнби определил как архаизм. В свое время историк охарактеризовал это явление, как некий повторяющийся в разных обществах в ситуации «социального распада феномен «душевной болезни», назвав его основой сознание людей, протестующих «против традиции, закона, вкуса, совести, против общественного мнения» [6. С. 415]. Примитивизация сознания и поведения, актуализация инстинктов, знаменующих возврат к первобытной стихии необузданных и неконтролируемых влечений, репрессирование нарабатанных морально-культурных императивов и табу представляют собой один из срезов такого «больного сознания», которое все чаще привлекает внимание специалистов из разных областей знания о человеке [7. С. 415]. В этом смысле опричный кризис может быть рассмотрен как один из исторически уникальных и в то же время повторяемых выражений протекания одной и той же

душевно-психологической болезни общества, в чем-то схожей, скажем, с той, что поразила римское общество в эпоху кризиса Империи.

Безусловно, было бы натяжкой искать прямую параллель гендерному поведению Ивана Грозного и его окружения в том стиле жизни императоров и окружавшей их элиты позднеримского времени, который устойчиво ассоциируется с картиной, нарисованной Светонием. Но от того, что, в отличие от Калигулы или Нерона, Иван не был замечен в кровосмесительстве, суть дела не меняется. Признания самого царя, что он «растлил тысячу дев», страшные пиры с пролитием крови, молчание московских бояр, не осмеливавшихся вступить за честь своих сестер, дочерей и жен, подвергнутых насилию опричников, делают атмосферу опричного времени во многом типологически близкой отдаленной античной эпохе. Невольно напрашивается литературная ассоциация – «пир во время чумы», – с помощью которой более или менее точно передается общая для этих оказавшихся в ситуации, как сказал бы Тойнби, социального распада разных миров. Впрочем, еще раз оговоримся, что архаизирующие тенденции в поведении этих столь разных обществ были все же различными уже в силу того обстоятельства, что «откат» назад, регрессия к наиболее примитивным и тем более деформированным модусам сексуального поведения происходили в исторически разных условиях. Если применительно к позднеримскому обществу эта регрессия означала некий возврат к ментальным и поведенческим практикам архаики, которая была относительно «рядом», то во времена XX века сознание уже устойчиво отделяло культурную норму от избыточной свободы примитивных инстинктов.

Здесь не обойтись без отвлечения, которое будет носить гипотетический характер, но вне которого вряд ли возможна какая-либо историко-культурная или социально-психологическая ретроспектива рассмотрения изначальных архаических форм бытования человеческой сексуальности. То, что промискуитетные практики, включая кровосмешение, долгое время являлись витальной нормой архаического бытования человека, которая лишь постепенно по мере жесткой необходимости репрессировалась разными формами социальности, вряд ли вызывает сомнения. Другое дело гомосексуализм. По-видимому, этот код гендерного поведения был куда как более распространенной практикой архаики, нежели мы привыкли полагать. Об этом красноречиво говорит не только хорошо известный античный материал. Впрочем, он наиболее репрезентативен хотя бы уже по той причине, что нигде архаика не оставила столь много зафиксированных письменной традицией следов, как применительно к Древней Греции, так и Риму. Ни греки, ни римляне не делали особых различий между гомосексуальным и гетеросексуальным, они в большей степени различали активность и пассивность. Этот факт может быть адекватно понят лишь при допущении, что психологическая и физиологическая власть, доминирование в сексуальных отношениях составляли одну из основ архаической сексуальной ментальности. Яркий пример Спарты не исключение. Не случайно, пишет П. Киньяр, два основных сюжета, часто фигурирующих на большинстве греческих ваз таковы: охота за зайцами с голыми руками, олицетворявшая собой педерастическую

любовь, и сцена, в которой бородатый мужчина с напряженным фаллосом держит на ладони поникший пенис безбородого партнера [8. С. 10]. Не останавливаясь здесь на вопросе о механизмах ограничения данных практик в обществах античности [9. С. 9–16], заметим, что общая направленность исторической динамики античной цивилизации, выражавшаяся в постепенном репрессировании гомосексуальных практик, не привела в рамках этого мира к превращению этого явления в область постыдного в той мере, в какой она явит свой лик в более поздние эпохи. В этом далеко не избавившемся от груза архаики обществе слишком был силен коренившийся в глубинных отсеках сознания тандем двух взаимосвязанных установок – сильному доступно то, чего он желает. Поэтому насилие над тем, кто обладал низшим статусом, вовсе не рассматривалось как отступление от нормы. Достаточно было патрицию указать пальцем и сказать: «Те раедісо» (Возьму тебя через анус). И наоборот, вольноотпущенник, осмелившийся поцеловать свободного ребенка или юношу, мог быть обречен на казнь. Опять-таки не останавливаясь на вопросе, насколько укоренились в этом мире в качестве этически регулятивного принципа ценности гетеросексуальности и моногамии, подчеркнем, что близость архаического «наследства» в позднеримском обществе в ситуации кризиса, по-видимому, объясняет и масштаб, и «богатство палитры» тех проявлений сексуальных перверзий, как сказал бы современный психолог, что вытывали во времена Калигулы или Нерона.

В этом контексте мы рискуем предположить, что означенный код гендерных практик был широко распространенным и долгое время не был табуированным и в древнерусском обществе. Для того имеются, пусть дискретные и косвенные, но свидетельства. Глухое упоминание Повести Временных Лет о том, что в шатре с убитым князем Борисом ночью находился и отрок Георгий, которого он очень любил, – одно из них. Но самое главное – широкое распространение содомии в Московии, о котором свидетельствуют как сочинения иностранцев о России, так и многочисленные обличительные послания русского духовенства.

Справедливости ради надо сказать, что этот вывод целого ряда ученых о распространенности гомосексуализма в Московском государстве был поставлен под сомнение в одном из последних исследований на эту тему [10. С. 195–213]. Однако основной аргумент Г.С. Зелениной, что констатация иностранцами широкого распространения среди русских содомии была связана не столько с самой реальностью, сколько с «неприемлемой для западного человека XVI–XVII вв. легитимностью и, возможно, даже популярностью темы в публичном дискурсе высших слоев общества» [10. С. 213], представляется уязвимой. Именно потому фактически во всех свидетельствах иностранцев обращается внимание на «неприличные» увлечения москвитов, что в русском обществе это явление не было репрессировано в той мере, в какой это произошло в Западной Европе, где сложился более благоприятный социально-психологический климат для соответствующих культурно-психологических мутаций.

Природу последних невозможно адекватно интерпретировать в контексте какой-либо одной науки, будь то психология, история, культурология

или сексология. Накопленный багаж психологического и психоаналитического знания позволяет с большой степенью уверенности говорить, что избыточность сексуальных связей, гиперсексуальная активность, перверзии, алкоголь, наркотики являются одним из наиболее симптоматичных способов снятия неосознаваемой тревожности, страха, невроза [11. С. 11–214]. С помощью этих заместителей фрустрированное сознание пытается найти источник того самого удовольствия, которого его носитель не может достичь на путях той или иной ценностно значимой и в то же время свободной деятельности. Говоря о последней, Э. Фромм уточнял, что эта деятельность, связанная со свободой «для», лишена страха и не обусловлена диктатом извне. Она продуктивна, так как ориентирована на диалог с миром, как бы ни был мал формат той социальности, на которую она ориентирована [12]. Чем сильнее та часть идентичности, которая связана с Эго-идеалом, то есть принятыми «как свои», а не просто усвоенными внешне со стороны Супер-Эго ценностями, тем устойчивее и позитивнее идентичность, тем меньше страхов и тревожности испытывает она и тем меньше она нуждается в каких-либо физиологических эрзацах эмоций удовольствия, которое ей приносит ее деятельность. Обретение такой идентичности зависит от характера социализации личности, начиная с самых ранних этапов ее становления в рамках семьи. Последняя, в свою очередь, несет на себе печать историко-культурных возможностей и проблем, которые открывает для нее тот или иной тип общества.

Безусловно, эта эволюция не имеет прогрессирующего линейного вида, она носит кустовый характер. Однако некая векторная логика в ней есть. Несмотря на то, что современный западный мир с его обществом массового потребления породил и порождает тот тип идентичности, ценностный ряд которого исчерпывается, пусть социально мутированным, но остающимся устойчивым видом ориентаций «иметь», но не «быть», что создает почву для его повышенной фрустрированности, он же сформировал и тот ее модус, который отличается наибольшей личностной и социально значимой жизнеспособностью. Западная цивилизация, являвшаяся своеобразной лабораторией исторической переработки опыта поколений сначала античного мира, затем европейской средневековой и новоевропейской цивилизации, благодаря особому динамизму протекания социальных процессов на всех витках этой эволюции порождала острые проблемы адаптации личности к этим быстро менявшимся реалиям. Как нигде, личность испытала здесь мощнейший прессинг социально-психологической напряженности, но именно благодаря этому здесь и осуществлялась естественно-историческая селекция того типа идентичности, который обретал психологическую гибкость и выраженную способность жить в конструктивном режиме диалога с миром, способность к свободному творчеству.

В этом контексте видна параллель процессу индивидуализации и обретения личностью культурно-психологической устойчивости и наращивания рациональной оснастки мышления. То, что в Западной Европе, если говорить об общих векторах развития, этот процесс шел динамичнее, чем где-либо, доказывает уже тот факт, что корпус означенных психологических и психо-

аналитических теорий сформировался именно в западном интеллектуальном пространстве. Сказанное звучит, безусловно, очень схематично, но в рамках статьи невозможно сказать больше. Важно подчеркнуть, что этот общий макроисторический рисунок состоит из множества взаимосвязанных сколков, каждый из которых имеет свою нишу в его общей картине. Общий поступательный ход развития того или иного общества или цивилизации выявляет не только ту культурно-психологическую мутацию в регенерации поколений, которая связана с воспроизводством идентичности продуктивно-позитивного характера, как сказал бы Э. Эриксон. Наряду с этим обнаруживаются те мутации человеческой породы, которые свидетельствуют о «сбоях» в процессе социализации, которые имеют, как правило, очень глубокие корни. Наиболее деформированный современный вариант можно представить типажом сексуального маньяка, убийцы типа Чикатило. Комплексный перекрестный анализ современной науки на примере таких людей как раз наиболее ярко иллюстрирует связь архаизации сознания и поведения такого рода людей с издержками их социализации.

Возвращаясь к гендерному казусу Ивана IV, отметим, что исторически уникальный характер социализации будущего царя нес на себе печать как макроисторического кризиса, в который попадет общество в эпоху опричнины, так и большей близости в сравнении с Западной Европой к непреодоленной социокультурной архаике в самом широком смысле этого слова.

Обозначая в самом общем виде формат макроисторического кризиса, представляется важным сказать о том, что, оказавшись на перекрестке исторических путей, принадлежа к странам начавшей формироваться в Раннее Новое время так называемой третьей подсистемы в процессе модернизации, Россия «споткнется», не выдержав ноши Ливонской войны, к которой она была не готова по причинам системного характера [13. С. 66–70]. Именно война, а точнее поражения в ней, явится спусковым крючком развертывания беспрецедентной по масштабам времени «охоты на ведьм», которая будет связана как с возросшим уровнем социально-психологической напряженности в обществе, так и с особенностями его сознания. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что та мера избыточного напряжения, которая выльется в эскалацию социальных эксцессов, связанных с поиском «козла отпущения», потому и была столь высокой, что рационально-интеллектуальная оснастка русского общества того времени позволяла осмысливать окружающее лишь в алгоритме «вины» конкретных лиц. Эту чрезвычайно важную закономерность связи социальной психологии и характера, как пишет К. Хорни, «среднего уровня познания, достигнутого в данной культуре» [11. С. 34], нередко не учитывают исследователи, анализируя причины опричнины. Историко-культурный генотип развития русского общества, во многом определявшийся тем, что генезис самой государственности и цивилизации происходил на базе варварского мира, во многом, наряду с последующей «татарской» прививкой, определил большой удельный вес архаики во всех его сферах в сравнении с Западной Европой. Она-то и определяла замедленность в сравнении с западноевропейскими темпами и характера наработки инструментария абстрагирования, дифференциации как необходимейших компонентов

трансформации сознания в направлении его рационализации и слабую контролируемость эмоционально аффективной сферы, сказавшуюся на характере разрешения кризиса.

Русский человек той эпохи в общем и целом был более подвержен повышенной тревожностью, которая свойственна была и Ивану Грозному. Ее современная психология именуется базальной, то есть несоразмерной предполагаемой опасности. Детский опыт Ивана, несомненно, акцентировал эту черту. Отец Ивана IV – великий князь Василий III – скончался в 1533 г., когда Ивану было 3 года, через 5 лет умерла и его мать – Елена Глинская. Рано лишившийся родителей малолетний царь оказался лишенным самого важного, что закладывает основу «базисного доверия к миру». На языке психоанализа последнее является самым важным гарантом нормальной социализации ребенка, поскольку закладывает глубинные не осознаваемые, но очень прочные основания психологической уверенности в себе [14. С. 100–105].

Источником фрустраций малолетнего Ивана было не только раннее сиротство, но сама атмосфера при дворе, которая сложилась вокруг трона в результате борьбы за власть. Еще при жизни княгини Елены наметились соперничающие группировки в лице князей Василия Шуйского и фаворита княгини князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского. Сразу после смерти Елены Глинской ее любовник был заключен в тюрьму и, как сообщает «Летописец начала царства», был «умориша... гладом и тягостию железною», а сестра его Аграфена, «мамка» Ивана IV, была сослана в Каргополь, и «тамо ее постригоша в черницы» [15. С. 11].

Фактически все детство и отрочество Ивана IV протекали в обстоятельствах жесткой борьбы различных группировок за власть, в ходе которой с малолетним князем никто не считался. Так, в 1542 г., во время попытки взять реванш князем Иваном Шуйским, обернувшимся, по словам Б.Н. Флори, настоящим военным переворотом, бояре не убоились явиться посреди ночи в комнату Ивана и учинили митрополиту «безчестие» и «срамоту великую». А уже в следующем году Шуйские на глазах самого Ивана и Боярской думы жестоко избили Федора Воронцова «за то, что его великий государь жалует и бережет».

Детский опыт Ивана в силу уже означенных обстоятельств был травматичным даже по меркам тогдашнего жестокого и невротичного мира. Согласимся с Б.Н. Флоря, что запись об этих событиях, сделанная, судя по всему, по приказу уже взрослого царя, несомненно, отражала его отношение к происшедшему [15. С. 11] и косвенно подтверждала переживания ребенка, лишённого тепла близких людей – особенно матери, а впоследствии ее замещавшей фигуры – «мамки» Аграфены. Подобного рода упоминание, как факт оговора, психоаналитически сигнализирует об укорененности в подсознании травмирующего воспоминания, связанного с потерей психологически значимой фигуры. Если бы этого травмирующего опыта не было, то вряд ли Аграфена, женщина, пусть и царская «мамка», попала бы на страницы летописца, повествующего о важных для царя государственных делах.

Предположение, что Иван действительно лишился того тыла, который обеспечивает нормальную социализацию на ранних этапах жизненного цик-

ла, и что это сказалось на его взрослой идентичности, можно найти и в переписке царя, где есть немало свидетельств «застрававших», как выражаются психологи, воспоминаний травматичного детского опыта. В сознании царя они с братом Юрием остались круглыми сиротами, которым никто не помогает, «нас убо, государей своих, никоего промышления доброхотнаго не сподобиша... питати начаша яко иностранных или яко убожейшую чадь. Мы же пострадали во одеянии и в алчбе» [16. С. 33].

В приведенном выше рассказе уже взрослого царя имеется фрагмент, который также может быть проинтерпретирован психоаналитически. Восьми- или девятилетний Иван вместе с братом Юрием играют в свои детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский, «седа на лавке, лохтем опершися на отца нашего постелю, ногу положа на стул». Память избирательна, и если подсознание не репрессировало этого эпизода из головы взрослого царя, то нет сомнений, что маленького Ивана болезненно задел факт непочтительного отношения к нему – пусть малолетнему, но государю. Истоки акцентуированного избыточно болезненного самолюбия, которые не раз будут продемонстрированы Иваном IV в качестве зрелого и самостоятельного правителя, можно искать уже в этих ранних событиях.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что по мере взросления у будущего царя пробуждалось подавленное желание продемонстрировать свою власть, желание, компенсаторное по своей природе и деформированное тем страхом, который оставит неизгладимый след в его психике. Это желание, избыточное у личности авторитарного склада, превратится, на языке теории Д. Узнадзе, в фиксированную установку сознания взрослого царя, которая будет носить акцентуированный характер, отягощенный тем, что К. Хорни называет базальной тревожностью.

При этой интуитивно ощущаемой беззащитности маленький Иван получал пусть до конца не осознаваемые, но выразительные внешние знаки своей высшей власти. Этикет эпохи и двора предполагал, в частности, прием иностранных послов лично государем. Формальное отправление великокняжеских функции давало весьма веские свидетельства собственной значимости, которой в личностно-психологическом плане, если говорить об обретении идентичности реально властвующего великого князя, он не мог обладать. Так, уже через несколько дней после смерти отца трехлетний Иван принимал гонцов от крымского хана. Источники сохранили и другие свидетельства подобного рода. Ясно одно: не ощущать свою пусть символическую, но центральную роль в отправлении представительских функций власти он не мог, что наложит существенный отпечаток на характер деформации личности Ивана.

По мере взросления царя стиль отношения опекунов и окружения к нему претерпел изменения. Небрежение сменилось попустительством и лестью, во многом обусловленных тем, что враждовавшие между собой кланы старались теперь расположить молодого государя к себе, заручиться его поддержкой в будущем. Курбский описывает Ивана как «во злострастях и в самоволствии без отца воспитанного». «Великие гордые паны (по их языку боярове)», по его словам, старались всеми средствами угодить молодому Ивану,

«ласкающе и угождающе ему во всяком наслаждении и сладострастию». И хотя Иван по-прежнему был не самостоятелен в делах государственных, его личное поведение никем не ограничивалось и не стеснялось. Иван развлекался, как хотел: спихивал «с стремнин высоких» кошек и всякую «тварь бессловесную», в 14 лет «начал человек уроняти», бесчинствовал с детьми боярскими на улицах, «по стогнам и торжищам начал на конех...ездити и всенародных человек, мужей и жен бити и грабити, скачуще и бегающе всюду неблагочинне» [16. С. 222]. Ища расположения будущего самовластца, окружавшие его хвалили – «храбр и мужественен будет этот царь».

Свидетельства источников позволяют с большой степенью уверенности говорить, что в подростковом возрасте у будущего царя наличествовал тот комплекс черт, который современная психология интерпретирует как комплекс неполноценности. Присущая Ивану базальная тревожность вылилась в своеобразную защитную реакцию в виде агрессии в отношении других, как правило, ситуативно более слабых лиц [11. С. 31–34]. По-видимому, неслучайно одной из первых жертв этого деформированного всеми условиями детства опыта социализации наследника престола явится князь Андрей Шуйский, принадлежавший к кругу лиц, которые воспринимались как особо стеснявшие и ущемлявшие личные права Ивана и его брата. Тринадцатилетний государь велит псарям убить князя Андрея, как сообщает летопись, «не мога того терпети, что бояре безчиние и самовольство творят». Представляется психоаналитически важным позднее добавление к официальной летописи, которое является ключом к пониманию отроческого комплекса будущего царя. «От тех мест начали бояре от государя **страх** имети». Согласимся с Б.Н. Флорей, что в более поздние годы царь желал, чтобы это событие выглядело именно так в глазах читателя [15. С. 15]. На языке теории установки это свидетельствовало о **фиксации** соответствующей готовности сознания вызывать чувство страха у окружающих, зеркально отражавшее собственные страхи и тревожности.

Подчеркнем, что жестокость Ивана при всей ее чрезмерности не только по нашим меркам, но и меркам той эпохи свидетельствовала о ранней деформации его идентичности, что найдет отражение, как увидим, и в гендерном поведении. Уже на данном этапе жизненного цикла царя она обнаружит свою гиперизбыточность, с точки зрения современного психолога. Однако не следует сбрасывать со счетов, что существенный пласт неосознаваемых установок, с нею связанных, коренился в социальной психологии эпохи, медленно изживавшей архаическое начало. Поэтому русскому средневековому обществу в силу специфики историко-культурного развития в отличие от европейского был в большей степени присущ тот тип личности, который Э. Фромм описал как носителя черт авторитарного характера, очень медленно в сравнении с Западом изживавшего свои базовые черты. В веберовском модальном смысле слова его характеризует ощущение бессилия перед властью, страха перед ней, с одной стороны, чувство восхищения властью, безоговорочного принятия ее авторитета как непререкаемого, и гипертрофированного восхищения ее силой – с другой.

Уточним вслед за Фроммом, что власть в данном случае трактуется широко, не просто как некий политический феномен, но в бартовском ее понимании [17. С. 547], близком по смыслу фроммовскому. Не как что-либо определенно данное, но как результат межличностных взаимоотношений, в процессе которых выстраивается некая иерархия «высших» и «низших». Причем, подчеркивает Э. Фромм, лицо не обладающее «здесь и сейчас» определенной силой вызывает у такого рода личности желание «напасть, подавить, унижить», **вызвать чувство страха, которое компенсаторно в отношении собственного** [18. С. 142, 145]. В реконструкцию этих черт психологической двойственности царя как устойчивого личностного комплекса характерным образом вписываются и другие проявления его, вскрывающие стилистику поведения царя-подростка. Казалось бы, внешне не мотивированная, беспричинная агрессия и жестокость будет еще не раз являть свой лик в самых разнообразных поступках Ивана.

Еще раз подчеркнем, обострённое желание подчинять и командовать слабыми, свойственное структуре такого характера, было специфическим способом акцентуировано условиями деформирующей личность молодого царя социализации при дворе. Долгое время он не был готов к выполнению той социальной роли, которую ему надлежало выполнять. Как пишет Р.Г. Скрынников, достигнув совершеннолетия, «Иван IV далеко не сразу прировнился к роли самодержца. Дела управления не давались ему. Казалось, что он попал не на своё место» [19. С. 51]. Это создавало источник дополнительной нервной напряженности, которая, безусловно, не осознавалась.

Отсюда во многом проистекала общая неустойчивость его идентичности, которая находила свое выражение в самых разных сферах своего проявления, в том числе и в гендерной. Неслучайны те инвективы и поучения, с которыми обращались к царю его наставники. Так, Сильвестр, в своем послании призывал царя удалить из своего окружения людей, уличенных в «содомском грехе». «Аще сотвориши се, – писал Сильвестр, – искорениши злое се беззаконие прелюбодеяние, содомский грех и любовник отлучиши, без труда спасешися» [20. С. 82]. Максим Грек, поучая царя, отмечал как его равнодушие к женской красоте, так и сквернословие, внимание к клеветникам [21. С. 158].

К. Хорни вслед за многими другими исследователями отмечала, что сексуальная неразборчивость, как правило, сопровождает поведение человека со структурой характера, которому свойственна чрезмерная тревожность. Физический компонент в данном случае выступает как своеобразная замена тех положительных эмоций, которые дают сексуальные отношения, включающие в себя эмоциональную связь. На деле такая личность не способна к любви. То, что ею движет, это не столько потребность в любви, сколько неосознаваемое стремление подчинять себе. Особенно рельефно это видно в отношении пола потенциального партнера [11. С. 116–126]. Глубинное «стремление подчинять себе, или, точнее, покорять и подавлять», лежавшее в основе общей структуры психосоциальной идентичности молодого Ивана, проявлялось таким образом, и в его гендерном поведении.

Обретение новой идентичности молодым царем, означавшей позитивные изменения ее социокультурной конфигурации, произошло в результате ее кризиса, нашедшего отражение и в стиле гендерных отношений. Определенную роль в этом сыграли события, связанные со знаменитыми пожарами 1547 г. и первым настоящим военным походом Ивана, которые повлекли за собой выраженное изменение его умонастроения, имевшее серьезный резонанс в практике отправления власти. Московские пожары весны – лета 1547 г. едва не уничтожили город. Фактически правившие вместо него родственники царя навлекли на себя такую ненависть своих противников, что те сумели возбудить «черный люд», натерпевшийся от их насилий и грабежа. Началось самое настоящее восстание. Все свалившиеся на их головы невзгоды люди рассматривали как результат, с одной стороны, волхований княгини Анны, матери Михаила Глинского, с другой стороны, как свидетельство проявления Божьего гнева против Глинских, родственников и любимцев царя. Не останавливаясь подробно на этих событиях, подчеркнем, что они породили мощный психологический кризис Ивана. В речи на Стоглавом соборе 1551 г., вспоминая эти события, царь говорил, повторяя известные слова псалма: «От сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моя. И смирился дух мой...» [22. С. 247]. Именно этой реакцией только и возможно объяснить беспрецедентный по меркам того времени денежный вклад (7000 рублей), привезенный Алексеем Адашевым в сентябре 1547 г. в Троице-Сергиев монастырь, чтобы умиловать Бога.

Аналогичный удар Бог «нанес» Ивану и зимой 1548 г., когда провалился поход против казанских татар. Официальная летопись сообщает, что царь вернулся в город «с многими слезами». Б.Н. Флоря отмечает и другое выражение летописца – необычайная теплота зимой наступила «Божьим смотрением» [15. С. 24]. По-видимому, именно так и только так воспринимал эти события и сам Иван. Во всяком случае вряд ли вне такого допущения можно понять последующее «смирение» молодого царя, его отказ от «безчинств», попытку сообразовать свое поведение с божьими заповедями, что явным образом проявилось во всем его поведенческом облике. По сути, это был первый серьезный кризис идентичности царя. И «многие слезы» маркировали его остроту и неспособность справиться с ним своими силами.

В этот период, как отмечают многие исследователи, и начинается сближение Ивана IV с его будущим наставником и духовником Сильвестром. Сам Иван в Первом послании Курбскому писал, что «спасения ради души своея» он стал повиноваться своему новому духовному пастырю. Князь писал, что Сильвестр явился к царю «заклинающе его страшным Божиим именем» [16. С. 89]. Именно «страх, вошедший в душу», привел к тому, что оказалась открытой к наставлению та сторона идентичности Ивана, которая была «ответственна» за готовность не властвовать, но подчиняться. Ослабшее «Я» смогло принять диктат нормы и следовать до поры до времени в фарватере тех решений и ценностей, что на данном этапе олицетворял авторитет. Небрежение своими обязанностями, которое демонстрировал Иван до этого времени, ушло в прошлое. Восприняв и усвоив предложенное Сильвестром объяснение причин бедствий, постигших его самого и вверенное ему царст-

во, Иван, как известно, удалил от себя потешников и содомитов, стал вникать в государственные дела.

Именно этот период правления Ивана IV был периодом наиболее интенсивной реформаторской деятельности нового его окружения, вошедшего в историческую литературу под названием «Избранная Рада». Вопрос о том, кто являлся автором этих реформ, вызвал немало споров в исторической литературе. Не вступая в дискуссию по этому вопросу, достаточно бесперспективную с точки зрения четкого определения авторства тех или иных реформ, имеет смысл подчеркнуть, что неясность в определении их характера, равно как и споры по поводу их направленности, лишний раз свидетельствуют о том, что реформы, во многом изменившие и характер государственных институтов, и отношения их с сословиями, были сложным явлением, отражавшим всю противоречивость социальной ситуации в России этого времени. Несмотря на эту оговорку, автору данных строк представляется убедительной позиция тех исследователей, которые утверждают, что наметившийся рост городских, посадских слоев, связанных с ремесленно-торговой деятельностью, внес существенно важную интонацию в реформирование, благодаря которому создавались условия для инноваций уже не традиционно феодального, но иного образца. При всей противоречивости реформы говорили об одном – начался процесс оформления сословных корпораций как социальных общностей, способных отстаивать свои интересы. Процесс, во многом напоминающий те формы, в которых развивалась западноевропейская мир-система на пути Перехода от традиционности к новоевропейской социальности.

И существенную роль в этих реформах играли те люди, которые ассоциировались с новыми практиками жизни. То, что такие люди, как Сильвестр и Адашев, оказались у кормила власти, говорит о том, что феодально традиционная природа государственной власти постепенно начала мутировать. Как и в европейских странах, под влиянием новых реалий жизни в среде правящей элиты появляются люди, связанные с торговыми практиками. Сильвестр был не только религиозным интеллектуалом и наставником, но и успешным предпринимателем своего времени, что, кстати говоря, характеризует и втягивание духовенства в новые реалии жизни. Крупным купцом был и его сын, служивший дьяком в «царской казне у таможенных дел». Другое дело, что эти слои не были столь сильны, как на Западе, чтобы существенно изменить социальный климат в общей структуре власти и общества. Эти люди, преследуя прежде всего свои интересы (а по-иному и не могло быть), накладывали серьезный отпечаток на принимаемые властной фигурой решения.

Ведомый Сильвестром и Адашевым молодой царь поначалу не проявлял каких-либо признаков внутреннего конфликта, который выявится позднее и обнаружит себя как в политике, так и в частной жизни. Брак с Анастасией Романовной, дочерью окольного Захарьина-Кошкина, во многом упорядочил жизнь царя как благодаря характеру избранницы, так и усвоению «уроков» наставников. Английский дипломат Джером Горсей так пересказывал услышанное о ней: «Эта царица была такой мудрой, добродетельной,

благочестивой и внимательной, что ее почитали, любили и боялись все подчиненные. Он [Иван Васильевич] был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом» [23. С. 51]. По-видимому, можно положиться на эту оценку Горсеем царицы, косвенно подтверждаемую и другими источниками, в том числе и фактом канонизации Анастасии.

Участники весёлых «потех» исчезли из царского окружения. Перестали появляться на царских трапезах скоморохи. Составитель официальной летописи 50-х гг. XVI в. записал на своих страницах, что царь «потехи же царские, ловы и иные учреждения, еже подобает обычаем царским, все оставиша», посвящая своё время молитве и решению государственных дел. Однако сказанное отнюдь не свидетельствует, как сказал бы психолог, об обретении сильной Эго царем. Иван по большей части шёл в фарватере решений тех фигур, которые представляли для него на данный момент авторитет, позволив на время снять невыносимое напряжение и страх перед судом Божиим.

И тем не менее вплоть до событий, связанных с Ливонской войной и опричниной, идентичность Ивана пополняла багаж тех социокультурных установок, которые определяли ее развитие в общем и целом в алгоритме позитивной динамики. Срыв этого процесса и последующая деформация личности царя во многом взаимосвязаны с последующими событиями и историческими реалиями 50–60-х гг. XVI в., отражавшими радикальные перемены в положении страны и общества. Хотя сам царь не был ключевой фигурой в принятии решений о Казанском походе и, более того, есть основания полагать, что страшился его [24. С. 11], взятие Казани, свидетельствовавшее об укреплении мощи русского государства, внесло радикальную коррективу в самооценку царя и изменило конфигурацию структуры его авторитарного характера. Если московский пожар 1547 г. и неудачи первого военного похода молодого царя привели к тому, что самооценка царя оказалась неадекватно заниженной – что рационализировалось как проявление гнева Божьего, требовавшего замолить грехи, отказаться от скверны, – то казанская победа не могла не способствовать несоразмерно завышенному представлению о себе. В скобках заметим, что отчасти тут уже крылись психологические истоки будущего разрыва с теми, кто наставлял царя (Сильвестром и Адашевым), сдерживая необузданные проявления его «Я». Именно здесь следует искать и ответ на вопрос о роли Ивана в принятии решения относительно Ливонской войны. Изменение умонастроения царя как фактор, сыгравший важную роль в принятии решения о войне, очень точно уловила А.Л. Хорошкевич: «Опьяненный победой над Казанью царь решил проводить политику экспансии и по отношению к Ливонии» [25. С. 149].

Оставляя в стороне вопрос о том, что причины войны имели более глубокую природу, подчеркнем, что изменение основных идентификаций царя – уверовавшего в себе как избранника Божьего, на ком лежит миссия спасения погрязшего в грехах мира (прежде всего, латинского еретического Запада) – в конечном счете явилось в социально-психологическом плане своеобразной точкой бифуркации для русского общества. Ливонская война в силу объективных причин невозможности России одержать в ней победу в противоборстве с более развитым Западом явится тем спусковым крючком, кото-

рый приведет в действие опричнину. Уровень рационально-интеллектуальной оснастки как самого царя, так и общества позволял оценивать неудачи, с ней связанные, равно как и другие осложнения, возникшие в ходе нараставшего системного кризиса, как происки врагов православного царства. В этом смысле опричнина при всей ее исторической уникальности типологически близка по своей природе к таким социальным эксцессам, как охота на ведьм в Европе или религиозные войны во Франции XVI в., являвшиеся знаковыми проявлениями системного кризиса обществ, вступивших в пространство Перехода к новоевропейским реалиям жизни.

Лишив себя советников в лице Сильвестра и Адашева, Иван IV в то же самое время мучительно искал опору. Сомнения и неуверенность царя заставляют его искать ответ на них не в собственном сознании и опыте, а в наставлениях опять-таки фигуры, ассоциируемой с незыблемым авторитетом Божьего слова. Отсюда и известная поездка к Вассиану Топоркову. Как известно, бывший советник отца дал ему совет, многое определивший в найденном разрешении кризиса. «И аще хочещи самодержец быти, не держи собе советника ни единого мудрейшего собя, понежи сам еси всех лутчши» [16. С. 266]. Именно эта новая установка многое определит в дальнейшей самоидентификации царя, в том механизме работы сознания, который приведет к оформлению идентичности самодержца и тирана, именно тут уже будут посеяны зерна того воскурившегося пожара небывалой лютоости, с которым столкнутся его подданные. Именно здесь, как представляется, скрыты социально-психологические корни ситуации, которые приведут в конечном счете к той самой главной трагедии царя, которую современный исследователь определил как «неспособность самоидентификации с **идеальным** образом правителя-самодержца, «царя и великого князя всея Руси» [26. С. 42]. Подчеркнем, что выбор новой идентификации означал реактуализацию неосознаваемых ментальных установок, глубоко укорененных в архаических пластах сознания. Неслучайно исследователи вслед за Ю.М. Лотманом отмечают, что во властном плане эта трансформация сопровождалась регрессией от ментального архетипа «договора» к архетипу «вручения себя» [27. С. 5–7].

Чем дальше раскручивался маховик опричных процессов и зверств, чем сильнее сознание царя «убеждало» себя и окружающих в своем праве наказывать и казнить врагов веры и православного царства, тем сильнее становилась напряженность внутри собственного «Я». Дело в том, что гротескность сознания человека той эпохи, не раз отмечавшаяся исследователями, выражалась в рядоположенности, казалось бы, несовместимых понятий и образов. Это сознание, не будучи в состоянии оперировать аналитически-обобщающим инструментарием, сильно подверженное аффектам, что также было связано со слабой наработкой рациональной оснастки мышления, реагировало в конкретной ситуации тревожно-негативного вызова в режиме спонтанной реакции «здесь и сейчас». Кроме того, оно, как уже отмечалось, отличалось повышенной тревожностью. Большая часть обвинений в адрес «врагов» православного царства может быть отнесена на счет закономерностей работы этого типа сознания. Но одновременно Иван Грозный, воспринимая те или иные победы как знак благоволения Бога, а поражения как на-

казание за грехи, последние соотносил не только со своими подданными. Не следует забывать, что, оставаясь, как выразился бы А.Н. Бердяев, «христианизированным язычником», он являлся носителем тех христианских максим, которые, хоть и являлись очень хрупкой и поверхностно усвоенной частью тех установок, что формировали его идентичность, не могли быть до конца репрессированы.

И дело не только в усвоенных, пусть поверхностно, религиозных максимах. При всем том, что исследователи отмечают отсутствие сколько-нибудь выраженной оппозиции режиму опричнины, царь получал неоднократные не только эмоциональные, выраженные в самых разных формах, свидетельства несогласования с подданными, но и явные обличения в свой адрес. Шлихтинг, например, рассказывает, как во время пытки богатый новгородец Федор Ширков заявил, что видел злых духов, которые скоро заберут душу царя [28. С. 30]. Огрубляя ситуацию, можно сказать, что сознание Грозного постоянно билось в тисках неразрешимого противоречия этих двух идентификаций. Он – всемогущественнейший избранник Бога и одновременно его раб, который не может не ощущать своей греховности, как бы хорошо ни срабатывали его психологические защиты.

Эти страхи являют свой лик в самых разнообразных ситуациях и явлениях. В его текстах, где можно найти немало пассажей типа: «Надеюся на милость благоутробия Божия – может пучиною милости своя потопити беззакония моя» [16. С. 78]. В том, как после смерти сына он приказал составить синодик опальных, для помина тех, кто был казнен опричниками. В его поведении в Александровской слободе, куда он отъехал, «учреждая» опричнину. Примечательная деталь – когда в начале февраля 1565 г. царь вернулся из слободы, то выяснилось, что у него выпали все волосы на голове и из бороды [29. С. 34].

Внутренняя дисгармония приводила к дисфункциям и в гендерной сфере, которая и без того была неустойчивой. Частный летописец, цитированный Н.М. Карамзиным, говорит: «Умерший убо царице Анастасие, нача царь яр быти и прелюбодействен зело» [30. С. 5]. Не зря митрополит дал согласие на новый брак уже через несколько дней после смерти царицы.

Как уже отмечалось, в условиях постоянного невроза человек перестаёт получать внутреннее удовлетворение от нормальных взаимоотношений с другими людьми. Качество заменяется количеством, постоянным поиском новых связей, в том числе сексуальных. Отчасти это проявилось и во взаимоотношениях Ивана с его многочисленными женами, ни с одной из которых не сложились эмоционально близкие и тёплые отношения. Через два года после смерти Марии Темрюковны царь устроил широкомасштабные смотрины, с «опозориванием» множества невест, и по протекции Малюты Скуратова выбрал себе в жёны Марфу Васильевну Собакину, дочь простого новгородского купца. Иван женился, несмотря даже на то, что невеста начала сохнуть от какой-то болезни. Марфа умерла через две недели после свадьбы, и царь уверял, что она не успела даже стать его женой. Этим он хотел оправдать своё намерение вступить в четвёртый брак, о котором он стал думать немедленно после смерти Марфы. В 1572 г. он повёл к алтарю дочь одного из своих знатных придворных – Анну Колтовскую. Уже через полгода Грозный заточил её в монастырь под предлогом участия в заговоре. Ма-

рия Нагая – седьмая жена Ивана IV, пятая «законная» супруга, так как с Анной Васильчиковой (тоже постриженной) и Василисой Мелентьевой царь не был связан церковным браком. Этот новый брак, в глазах царя, ничуть не мешал ему свататься сначала к королеве Елизавете, а потом, когда это предложение не встретило поддержки при английском дворе, к её родственнице, Марии Гастингс.

Однако объяснять особенности гендерного поведения Ивана лишь стилистикой поведения личности, чья идентичность, обладавшая повышенной нервозностью, актуализировавшейся в условиях возросшего социально-психологического напряжения, будет явным упрощением. И здесь нельзя не обойти вниманием тот параллелизм, который выявляет поведение царя как *homo politicus* и *homo sexuales*. Обе эти сферы, составляя органические части системы идентичности царя, несли на себе печать той реактуализации архаики в условиях социального клинча и репрессирования накопленного культурно-религиозного багажа, которые были облегчены относительной слабостью капитала наработанных духовно-правовых норм и практик средневековой цивилизованности.

Этот параллелизм властного и гендерного кода поведения Грозного явственно виден во всем. Поссевино приводит весьма симптоматичный сюжет. Слова пророка Исаяи «Я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках, дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих» произвели такое впечатление на царя, что он попросил папского посла, чтобы он прислал ему то место из Исаяи, которое он привел [31. С. 82]. Вся стилистика отправления власти говорила о том, что в психике царя дрейф в направлении безудержной и безграничной демонстрации собственной силы и внушения страха окружающим приносил удовольствие.

Неудивительно, что деформированная идентичность Грозного чем дальше обретала негативный характер, тем больше нуждалась в том топливе, которые ей предоставлял «воскурившийся пожар лютости». Психоаналитическая традиция фиксирует прямую связь между немотивированной агрессией, садизмом, нередко отягощаемым некрофильскими чертами, и отмеченной структурой характера. У Шлихтинга, как, впрочем, и в других источниках, мы найдем немало подтверждений сказанному. «Он приказывал убийцам насиловать у него на глазах жен и детей тех, кого он убивал, и обращаться с ними по своему произволу, а затем умерщвлять» [28. С. 23]. «У этого тирана есть много тайных доносчиков, которые доносят, если какая женщина худо говорит о великом князе-тиране. Он тотчас велит хватать и приводить к себе даже из спальни мужей; приведенных, если понравится, он удерживает у себя, пока хочет; если же не понравится, то велит своим стрельцам насиловать у себя на глазах и таким образом изнасилованную вернуть мужу» [28. С. 37]. Еще более ужасную вещь, пишет Шлихтинг, он сотворил с одним из своих секретарей и его женой: «Похитив его жену с ее служанкой, он держал их долгое время. Затем обеих изнасилованных он велит повесить пред дверьми мужа, и они висели так долго, пока тиран не приказал перерезать (петлю)»

[28. С. 37]. Когда он опустошил владения одного воеводы, в его лагере находилось около пятидесяти красивейших женщин «для удовлетворения его похоти», «которая ему нравилась, ту он удерживал, а которая переставала нравиться, ту приказывал бросить в реку» [28. С. 37]. При встрече со знатной женщиной, если она являлась женой неугодного ему человека, он повелевал поднять ей платье и «предоставить срамные места для созерцания всех. Ей нельзя двинуться с места, пока тиран со всею своей свитой не увидит ее обнаженной» [28. С. 51]. Безудержная, компенсаторная в своей основе бессознательная тяга к подчёркиванию своей власти и одновременно к подтверждению собственной значимости в сексуальных отношениях проявилась и в возврате царя к содомским способам ее удовлетворения. Отношения с Ф. Басмановым, «сурьмившим брови» и наряжавшимся в женское платье, вписываются в контекст означенных явлений. Шлихтинг сообщает, что причиной тайной гибели Дмитрия Овчины «было то, что среди ссор и брани с Федором, сыном Басмана, Овчина попрекнул его нечестным деянием, которое тот обычно творил с тираном. Именно тиран злоупотреблял любовью этого Федора, а он обычно подводил под гнев тирана» [28. С. 17]. В этот же ряд связи властно-гендерного кода поведения Грозного на уровне бессознательного вписывается и гипотеза о причинах убийства им сына, которое, по мнению ряда авторов, имело среди прочего и сексуальный подтекст. Третья жена Ивана (двух предыдущих царь заточил в монастырь) «как-то лежала на скамье, одетая в нижнее платье, так как была беременна и не думала, что к ней кто-нибудь войдет. Неожиданно ее посетил великий князь московский. Она тотчас поднялась ему навстречу, но его уже невозможно было успокоить. Князь ударил ее по лицу, а затем избил своим посохом, бывшим при нем, что на следующую ночь она выкинула мальчика» [31. С. 50]. Дальнейшее хорошо известно.

Психоаналитик, знакомый с обычаем женщин того времени носить две сорочки, нижнюю (рубашку) и верхнюю (платье), повод для агрессии расценил как очень серьезный, если он примет во внимание структуру идентичности царя. По большей части вытесненный в ходе историко-культурной эволюции и табуированный условиями социализации модус гендерного поведения архаического общества (снохачество, близкое по своей социальной природе к кровосмешению), реактуализировавшись в условиях психосоциальной деформации идентичности, находит таким образом выход накопившемуся раздражению. Все же позволить сексуальное надругательство над невесткой Иван, по-видимому, не мог. И здесь, безусловно, возникает немало вопросов, если сравнивать этот вариант архаизации поведения с известными античными примерами или же французским двором Екатерины Медичи. Однако, учитывая широкую распространенность снохачества в России и в более поздние времена, связь этого явления со спецификой властного кода культуры, мы имеем основание предположить, что приведенный инцидент системно вписывается в общий алгоритм деформации гендерной идентичности Грозного [31. С. 104–118].

Именно удовольствие, которое приносила царю все чаще требующая своего подтверждения глубоко укорененная психологическая потребность

ощущать безграничие своей власти и готовность демонстрировать ее, вызывать страх, заставляет его «бесчинствовать» в смехе. Например, выпускать неожиданно медведей в толпу. Или же «для услады своей души» приказывал зашить в шкуру медведя кого-нибудь из знатных людей и выпускал на него собак. Те разрывали его на глазах Грозного и его сыновей, «которые страстно наслаждаются такими зрелищами» [28. С. 39].

Во время разгрома Новгорода, поход на который, как теперь с очевидностью явствует из многих исследований, не имел серьезных рациональных оснований, но был выражением обозначенных выше страхов перед предательством, изменой, Грозный самым жестоким образом надсмехался не над кем-нибудь, но над самим архиепископом Пименом. «Тебе не подобает быть епископом, а скорее скоморохом. Поэтому я хочу дать тебе в супружество жену», – заявил царь. Грозный велел привести белую жеребую кобылу и обратился к архиепископу с следующими словами: «Получи вот эту жену, влезай на нее сейчас, оседлай и отправляйся в Московию и запиши свое имя в списке скоморохов... И когда тот уже удалился, он опять велит позвать его к себе и дает ему взять в руки музыкальный инструмент, мехи (и) лиру со струнами. «Упражняйся в этом искусстве, – сказал тиран, – тебе ведь не остается делать ничего другого, в особенности после того, как ты взял жену» [28. С. 29–30].

Этот эпизод особенно показателен. В звучащем «за кадром» текста смехе Ивана слышны не только интонации удовольствия, получаемого благодаря демонстрации всемогущества, питаемого страхом того, кто подвергнется унижению, но и собственного страха. А.Г. Козинцев очень верно подметил, что смех способен «смешивать и подменять мотивации» [33. С. 214]. По сути, он отражает динамику идентичности царя, доминирующий каркас установок которой все более определялся теми ментальными матрицами, которые были связаны с нарастающим укоренением на глубинном уровне бессознательного готовности к агрессивно-жестоким формам демонстрации своей власти. Причем эта часть идентичности сформировалась не вдруг, она вызревала в контексте той историко-психологической динамики, которую претерпевала личность царя в ходе общесоциального кризиса опричного времени. Важно подчеркнуть, что при этом сознание царя в самых разных ситуациях сталкивалось с проблемой преодоления собственного страха перед подданными, страха перед наказанием на Страшном суде. Приведенный эпизод с предсказанием Федора Ширкова далеко не единственный случай, зафиксированный источниками, когда царь имел возможность ощутить ненависть подданных. Их огромное множество. Да, эта ненависть в силу специфики функционирования авторитарной ментальности и уровня рационально-политической культуры не могла по большей части выразить себя в том артикулированно явственном виде, с каким мы сталкиваемся в сочинениях Курбского. Причем рационализировать асоциальное поведение царя могло лишь на языке религиозно-культурной нормы. Симптоматично, что объектом смеха в рассматриваемом случае выступает именно фигура, олицетворяющая эту норму.

Однако, как известно, большую часть подлинной смысловой информации наше сознание снимает благодаря механизмам работы бессознательного – ми-

мике, жестам, оговоркам и т.п. его проявлениям. Поэтому неслучайно царь, казалось бы, немотивированно «зверел» от уловленного недоброжелательного взгляда [34. С. 35]. И вместе с тем общая психолого-политическая культура русского общества того времени способствовала тому, что преобладающим регистром эмоций был страх (вспомним природу авторитарной ментальности). В этом общем социально-психологическом контексте и оказалась возможной та деформация идентичности Грозного, которая обрела способность преодолеть собственный страх перед нарушением социально-культурных норм. (Эту закономерность функционирования очень точно выразил Ф. Искандер в своей знаменитой повести: «Наш страх – их гипноз, их гипноз – наш страх»).

При всем различии множества концепций смеха в них выделяется в качестве общего места то, о чем некогда писал еще Аристотель, говоря, что «смех есть часть безобразного». Смех – психоэмоциональная защита, свидетельствующая о подсознательной готовности личности, благодаря **накопленным определенным установкам**, преодолеть «зло», с каким сталкивается личность его носителя. Другое дело, что «зло» всякий раз имеет ценностную насыщенность. Для психики Грозного его смех означал преодоление страха перед Богом и подданными. (Оговоримся, страх не покрывал собой все эмоциональные состояния Грозного, но являл свой лик в режиме проявления «здесь и сейчас», как правило, после очередного злодеяния). Рука об руку с его преодолением наращивались те установки, которые выстраивались в соответствующий ценностный ряд, связанный с толкованием границ собственного всевластия, попиравшего нарабатанные нормы политической культуры общества. На языке теории установки реализация потребности (в данном случае связанной с демонстрацией власти и внушения страха) является источником энергии, так как приносит удовлетворение на психосоматическом уровне [35. С. 53]. Отсюда и тот inferнально-циничный характер многочисленных бесчинств царя, с которыми сталкиваются исследователи [36. С. 119–145].

Однако **агрессивная артикуляция** этого смеха выявляет непреодоленный, глубоко скрытый и неосознаваемый страх царя. Страх перед собственным нарушением базисных для культуры и общества норм, в том числе и гендерных. Тех норм, которые не могли быть стерты ни психически защитными механизмами работы сознания, ни атмосферой вседозволенности, чем дальше, тем больше формирующейся вокруг фигуры царя. Поэтому, соглашаясь с тем, что к смеху Грозного вполне приложимы слова С.С. Аверинцева, который говорил, что бывает и смех «цинический, смех хамский, в акте которого смеющийся отделяется от стыда, от жалости, от совести» [37. С. 13], все же оговоримся. Как гендерное поведение, так и смех царя, выявляющие неосознаваемое «освобождение от ноши культуры», одновременно говорили о том, сколь «обременительна», тяжела она была для его носителя. Сколь хрупки были в обществе данные ею плоды. И сколь силен был пласт архаических властно-иерархических ментальных установок, коренящихся в глубинах человеческой природы, который с такой легкостью в условиях кри-

зиса преодолели заслон наработанных цивилизацией по тем временам еще достаточно хрупких табу.

Нельзя не согласиться с мнением московских психологов, очень верно подметивших, что в изучении гендерной идентичности все еще доминирует традиция «школьного» изоляционизма, что девиации гендерного порядка, как правило, не связываются со своеобразием строения целостной идентичности [38. С. 3]. Данный текст, представляя собой попытку реконструировать гендерный код поведения царя, продолжает серию авторских публикаций, ориентированных на то, чтобы увязать макроисторический контекст кризиса опричного времени с динамикой психосоциальной идентичности Ивана Грозного. Вписываемость гендерного поведения царя в ту картину деформации духовно-психологического климата российского общества в означенное время, в которую столь же органично вписывается и смех Ивана, дает основание еще раз поставить вопрос о возможности верификации общей гипотезы, изложенной в предыдущих текстах [5. С. 4–29; 39, С. 57–75].

Литература

1. *Чистович Я.* История медицинских школ в России. СПб., 1883.
2. *Ковалевский П.И.* Иван Грозный и его душевное состояние // Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы по истории. СПб., 1901. Т. 3.
3. *Кавелин К.Д.* Собр. соч. СПб., 1987. Т. I
4. *История* государства российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. Книга вторая. М., 1998.
5. *Николаева И.Ю.* Смех и слезы власти в историко-культурном контексте их бытования // Вестник Томского государственного университета. Серия «История. Краеведение. Этнология. Археология». Томск. 2005. № 288.
6. *Тойнби А.* Постигание истории. М., 1991.
7. *Антонян Ю.А.* Отрицание цивилизации: каннибализм, инцест, детоубийство, тоталитаризм. М., 2003.
8. *Киньяр П.* Секс и страх. М., 2000.
9. *Николаева И.Ю.* Истоки и особенности европейского гендерного культурного кода // Гендерная идентичность в контексте разных историко-культурных типов. Томск, 2003.
10. *Зеленина Г.С.* Свидетельства иностранцев XVI–XVII веков о московитах-содомитах // Адам и Ева. 2002. № 3.
11. *Хорни К.* Невротическая личность нашего времени. М., 1993.
12. *Фромм Э.* Иметь или быть. М., 1990.
13. *Раков В.М.* «Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI–XVIII вв.). Пермь, 1999.
14. *Эрикссон Э.* Идентичность: юность и кризис. М., 1996.
15. *Флоря Б.Н.* Иван Грозный. М., 2002.
16. *Памятники литературы Древней Руси.* Вторая половина XVI века. М., 1986. Вып. 8.
17. *Барт Р.* Избранные работы. М., 1989.
18. *Фромм Э.* Бегство от свободы. М., 1990.
19. *Скрынников Р.Г.* Иван Грозный. М., 1983.
20. *Голохвастов Д.П.* Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // Чтения общества истории и древностей российских (ЧОИДР). 1874. Кн. 1. Отд. I
21. *Инока* Максима главы поучительны начальствующим правоверно // Сочинения преподобного Максима Грека, изданные при Казанской духовной академии. Ч. 2. Казань, 1860.

22. *Емченко Е.Б.* Стоглав. Исследование и текст. М., 2000.
23. *Горсей Джером.* Записки о России XVI – начала XVII в. / Под ред. В.Л. Янина; Пер. и сост. А.А. Севостьяновой. М., 1990.
24. *Веселовский С.Б.* Царь Иван Грозный в работах писателей и историков. М., 1999.
25. *Хорошкевич А.Л.* Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 14.
26. *Богатырев С.Н.* История создания психологического портрета Ивана Грозного // Постигая Россию: к 50-летию научного студенческого кружка отечественной истории Средневековья и Нового времени. М., 1997. РГГУ. С. 31–51.
27. *Лотман Ю.М.* «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры // Проблемы литературной типологии и исторической преемственности: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту, 1981. Вып. 32. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 513).
28. *Шлихтинг А.* Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934.
29. *Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе* / Пер. М.Г. Рогинского // Русский исторический журнал. Пг., 1922. Кн. 8.
30. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. СПб., 1892. Т. IX. Примечания. №28.
31. *Поссевино А.* Исторические сочинения о России XVI века. М., 1983.
32. *Николаева И.Ю.* Ментальность гендерного казуса в свете теории модернизации // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой, Л.П. Репиной. М., 2004.
33. *Козинцев А.Г.* Об истоках антиповедения, смеха и юмора // Смех: истоки и функции. СПб., 2002.
34. *Флетчер Д.* О государство Русскомъ, или Образъ правления русскаго царя (обыкновенно называемым царем московскимъ) С описаниемъ нравов и обычаевъ жителей этой страны. СПб., 1906.
35. *Шерозия А.Е.* Психоанализ и теория неосознаваемой психологической установки: итоги и перспективы // Бессознательное: Природа, функции и методы исследования. Тбилиси, 1978. Т. 1.
36. *Николаева И.Ю., Карагодина С.В.* Природа смеха и природа власти Ивана Грозного и Козимо Медичи: сравнительный анализ в контексте раннеевропейских процессов Перехода // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований. М., 2004.
37. *Аверинцев С.С.* Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как философ. М., 1992.
38. *Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Лонтиу Ф.* К обоснованию клинико-психологического изучения расстройств гендерной идентичности // Вопросы психологии. 2001. № 6.
39. *Николаева И.Ю., Сайнаков Н.А.* Гендерные установки сознания и поведения в русском обществе XVI в.: Феномен Ивана Грозного // Гендерная идентичность в контексте разных историко-культурных типов: стратегия и методики гендерного образования. Томск, 2003.